

Сама постановка проблемы, при некоторой поспешности, вполне правомерна. Ведь 60-е и 80-е годы – это не просто два случайно взятых исторических периода, а эпохи, во многом несущие в себе онтологически противоположное содержание. Условно их можно обозначить как «обретение времени» и «пребывание во времени». 60-е годы – выход из безвременья. В них присутствовала чрезвычайная спрессованность бытия, прибегая к термину Аверинцева, «онтологическая плотность», которая в значительной степени соответствует архетипу «переломной эпохи». В 80-е же начинает превалировать то наиболее запутанное и трудноопределимое явление, которое обычно называют «нормальной жизнью». Но, при наличии представления об оппозиции этих двух эпох, у многих возникает ощущение ненормальности именно последней (может быть, это связано, отчасти, с особенностями национальной психологии).

Картину 60-х годов в целом можно сопоставить с тем зрительным впечатлением, которое производит тронувшийся за окном стоящего вагона поезд: собственная неподвижность при этом воспринимается как все ускоряющееся движение в противоположную сторону. 80-е можно сравнить с ощущением, которое охватывает нас, когда этот состав прошел.

Всем людям 60-х гг. знакомо чувство удивительной легкости, стремительности, почти парения. Мы, в действительности, начинали свой путь в культуре «сверху-вниз». Как в «теологии нисхождения», мы сначала ощутили себя носителями всей полноты истины, полученной в откровении и лишь постепенно и неохотно опускались до земли. То, что произошло на рубеже 50-х–60-х гг., можно, в некотором смысле, назвать «рождением культуры» (если принять предшествующий период за ее смерть). Тогда получится, что детство многих из нас совпало с «детством культуры» (одним из подтверждений чего служит поголовное производство «культурных мифов»). А поскольку «культуры суть организмы» (О. Шпенглер), то они, от рождения, должны пройти все стадии – вплоть до умирания (по Шпенглеру, – вырождения в цивилизацию). Детство – это, как известно, «золотой», в крайнем случае, «серебряный» век. Ахматова, правда, называла подъем русской культуры (поэзия, главным образом) начала 60-х гг. веком «бронзовым» (так, глядишь, и до «железного» доживем). В 60-е годы царило состояние младенческой эйфории, которое, по-видимому, вообще характерно для подобных эпох: «Нет ничего нового под солнцем». Не

новым было и ощущение новизны происходящего, которое определяло, в большой степени, общий настрой. Я не исключаю также того, что наши потомки, лет через 50, будут воспринимать 60-е гг. прошлого для них века так же, как мы, скажем, 10-е годы – нынешнего. В истории не было ни одного заблуждения, которое бы не повторялось, впрочем, так же, как и трезвого взгляда на вещи. Ведь многое из того, то сейчас говорится о современных социально-культурных процессах, совпадает с рефлексией ряда интеллигентов начала века. Вспомним сборник «Вехи» или, хотя бы, эту фразу, написанную Блоком в 1910 г.: «Кто знает, может быть, в те времена, когда взаимные отношения людей в России станут, что называется, вполне культурными, кто-нибудь вспомнит старое и вздохнет о нем, как о золотом детстве» («Ответ Мережковскому»). «Бог знает, когда наступит конец "золотому детству" нашему и наступит ли...» – вздыхаем мы сейчас, по прошествии 75 лет после написания этих слов.

Конечно, существенное различие между началом века и нашим временем состоит в том, что люди «серебряного века» не были в таком отрыве от традиции, с которого свою жизнь в культуре начинали мы. (Причем, люди 60-х гг. в этом отношении находились еще в сравнительно выигрышном положении по отношению к людям 50-х годов). Мы росли, как трава на выжженном месте (может быть, этим и объясняется «буйство роста»). И именно превалированием «синтетического поневоле», не рефлектирующего на культурную традицию начала века и объясняется тотальное господство поэзии (своего рода «поэтический бум») в 60-е годы. Поэзия явилась выражением колоссального эмоционального подъема, который овладел тогда чуть ли не всеми. Это было почти эсхатологическое мироощущением. Казалось, что решение всех проблем «близко, при дверях» (Мк. 13, 29), независимо от того, виделся ли в этой эсхатологической перспективе «коммунизм» или окончательное торжество «духовности». Именно этой уверенностью в том, что сейчас совершается и объясняется то, что в течение лет десяти после «разоблачения культа личности» не возникло сколько-нибудь оформленного политического или религиозного движения, То есть status quo культуры переживался как осуществление самых радужных надежд.

Очень многие ощущали себя объектами и медиумами «культурного откровения». Мы начинали строить свой дом с крыши, не спеша доводить его до земли. В связи с чем многие элементы здания оказались попросту не выстроенными. Такое, к примеру, сооружение, как лестница, в которой «нет не только площадок, но кое-где и этажей» (Е. Шварц), может служить символом «культурной архитектуры» большинства из нас. И лишь немногие, достроив таким образом себя до земли, имели силы и желание начать все заново. Обычно бралась какая-то часть общекультурного достояния (например, структурализм), абсолютизировалась, и на ее основе создавалась мифологическая модель, своего рода «культурная панацея», которая и объявлялась единственно возможной формой

к у л ь т у р ы. А в качества доказательства своего исключительного призвания быть медиумом «культурного откровения» – ссылки на бесчисленные и, по возможности, неизвестные слушателям (как, зачастую, и самому говорящему) авторитеты. Одним из непреложных законов культурного этикета было использование максимального количества малоизвестных имен и нововведенных терминов. Но лишь немногие достигали искусства говорить (писать) совершенно непонятно, что, по-видимому, и следовало считать чистейшим эталоном культуры (своего рода интеллигентские «глоссолалии», признак особой отмеченности «духом культуры» или, как любили говорить, «духовности»). Такое «фундированное на крыше» здание, построенное к тому же с артистической небрежностью, – это и есть традиционный культурный облик русского интеллигента 60-х–70-х годов. Люди способны были говорить по несколько суток кряду о проблемах «небесных, земных и преисподних», зная их все приблизительно в одинаковой степени. В общем, «онтологической плотности» было хоть отбавляй, а элементарной информированности, умения оперировать фактами, дисциплины мышления не было.

Все это с наибольшей наглядностью проявилось в нашей неофициальной журналистике. У нас до сих пор не сложилась традиция спокойного и конструктивного диалога. Мы не умеем выслушать, прочесть, понять оппонента. Подчас, обрушиваемся на него, фактически повторяя другими словами его же собственные доводы. Это, конечно, следствие долгого сидения на цепи, выкованной заботливыми руками официальной культуры. Но, с другой стороны, и свидетельство того, что сам дух официальной идеологии органически усвоен, пропитал нас насквозь. Ведь характерно то, что в развернувшихся на страницах наших неофициальных изданий дискуссиях оспаривалось не само высказываемое мнение, а п р а в о другого высказывать то или иное мнение. Так что любое свободное высказывание об актуальных явлениях культуры могло привести и буквально чуть ли не приводило к требованию сатисфакции. Часто культурная полемика или обсуждение произведений прекращались просто в сведение личных счетов. Впрочем, последнее было характерно для России и в прошлом. Вспомним хотя бы Пушкина, который говорил, что в журналистике недопустимы только две вещи: «личность и неприличность». Правда, в пушкинские времена это все-таки понимали, в наше же время, как мне кажется, не понимает почти никто. В целом, журнальная полемика в ленинградских неофициальных изданиях последних лет носила характер своеобразного «литературного мордобоя», в то время как на собраниях, к примеру, петербургского философско-религиозного общества все-таки доминировал «словесный обмен мнениями». (Это несколько курьезное словосочетание почерпнуто мною из отчетов этих собраний). В начале века люди еще умели резко полемизировать на страницах периодических изданий и в то же время сохранять культурный

человеческий контакт. Вследствие ослабления внешнего гнета вытесненные социальные влечения прорвались наружу и обнаружилась чудовищная идеологическая закомплексованность современного русского интеллигента. Это, пожалуй, самое страшное из всех открытий, которое можно сделать на основе анализа культурной ситуации последних десятилетий.

Особенно отчетливо это проявляется в судьбе русских эмигрантов 70-х гг. В их среде литературные споры уже вышли на уровень самых разнообразных форм «оскорбления действием»: рукоприкладство, бутылеприкладство и т. п. (некоторые аналогии, правда, можно найти и у нас). С другой стороны, для «эмиграции 70-х» характерно восприятие современной России именно в той культурно-эсхатологической перспективе, которая доминировала в нашем сознании в 60-е и отчасти (по инерции) в 70-е гг. Причем, оказавшись на Западе, выходцы из России стали мыслить эту перспективу как бы уже осуществившейся. То есть то, что здесь было «обретение», там стало «преодолением» времени. Ведь главным событием и венцом любого эсхатологического проекта является победа над временем: «Времени уже не будет» (Откр. 10, 8). Эмигранты уже сейчас видят нас (и самих себя) такими, какими мы два десятилетия назад видели представителей «серебряного века». То есть отделяющее их от России пространство обрело, на субъективном уровне, качество времени. А усугубляющая все это ностальгия привела, наконец, к эмблемам типа: «Россия солнце, Запад – черная дыра». Взыскуемое, основанное на интенции, а не на экзистенции стало для них единственной русской реальностью. Естественно, на этом фоне развивается сварливое неприятие окружающей западной реальности. Именно в эмигрантском восприятии особенно жестко закрепился «культурный архетип», заложенный в основе жизни русской интеллигенции 60-х гг. В этом, как мне представляется, причина все более увеличивающейся пропасти в з а и м о н е п о н и м а н и я, которая пролегла между друзьями, волею судеб оказавшимися по разную сторону государственной границы.

Эйфория 60-х годов постепенно сменилась в 70-е гг. стремлением создать новую социальную структуру и религиозную культуру. 80-е же начались резкой переоценкой своих возможностей, отрицательной реакцией на «восторженный визг», почти оглушивший нас поначалу, и даже некоторым «повешиванием носов» (Достоевский). Если до этого провозглашали «второе пришествие серебряного века», «новый религиозный ренессанс», то теперь возникла противоположная тенденция: публичное самобичевание, срывание масок, ниспровержение кумиров. Реакция, в общем-то, закономерная и здоровая, если, конечно, снова не перегнуть палку. Если развивать метафору движущегося и неподвижного составов, тогда то, что происходило в предшествующие десятилетия, это – не перемещение, а р а з м е щ е н и е. То есть мы просто-напросто заняли места в «поезде культуры». Нам казалось, что

мы совершаем стремительное передвижение, в то время как сознание наше, как вакуум, втягивало в себя всю окружающую нас культурную среду. Теперь же, когда «тот состав» прошел, мы обнаружили, что стоим на месте, на полках в беспорядке разбросан весь вновь обретенный культурный багаж и ничего не происходит. Это, пожалуй, самый тяжелый шок, который нам пришлось пережить за последнее время. Мне кажется, что очень многие еще не могут от него оправиться.

Но проявляются, бесспорно, и позитивные тенденции: рефлексия, объективно констатирующая образовавшееся в интеллигентской среде расслоение, попытки конструктивной (без романтических крайностей) самооценки. Именно в этом, кстати, и заключалась программа новой (после отъезда Горичевой) модификации журнала «37» (вышло, к сожалению, только три номера). Бывший редактор второго журнала Т. Горичева – фигура для 70-х годов символическая. Уехав, она как бы завершила их в некотором смысле, экспортировала целую эпоху в жизни России. На смену «синтеза» 60-х (отчасти 70-х) гг. пришел «анализ» 80-х. (Видимо, это, в частности, и имелось в виду под эмблемой «радуга» – и меня лично она радует). Главный позитивный результат 60-х гг. – возвращение или (скромное) приближение к тем рубежам культуры, которые были оставлены нами в начале века. Хотя в этом направлении предстоит еще очень много сделать. В полной мере плоды в предшествующие десятилетия дала лишь поэзия, значительно меньше – проза, критика и публицистика, и почти ничего – философия и богословие. Еще очень много негативных факторов нам предстоит преодолеть. За эти годы было изобретено громадное количество велосипедов. Большое зло представляют собою элитарность и кружковщина. Наша неофициальная или теперь уже «полуофициальная» культура, может быть, в большей степени, чем когда-либо в России, носит клановый, «сектантский» характер. С одной стороны, вызванная внешним давлением очень сильная «спрессованность» (именно с п р е с с о в а н н о с т ь, а не сплоченность, что кажется мне весьма важным терминологическим различием), а с другой – в силу спрессованности – мощно действующие центробежные механизмы, приводящие к постоянному отделению каких-то частей от общей массы. Стремление не обидеть «своих» и уничтожить «чужих» наносит большой ущерб попыткам объективной культурной рефлексии. Неумение работать, отсутствие элементарной эрудиции подчас полностью лишает возможности сказать что-либо новое. А практика «затыкания орал» всем носителям отличной от своей собственной культурной модели создает атмосферу некоего духовного тоталитаризма.

Необходимо со смирением принять тот факт, что мы не всегда вспышкой молнии будем освещать «европейскую окрестность», но сами будем воспринимать те лучи солнца, которому «Отец наш небесный... повелевает восходить» (Мф. 5, 45) как над «Святой Русью»,

так и над «погрязшем во грехе Западом». Переход от «визга и вранья» на почве «восторга» к нормальной медленной культурной работе и есть то главное, что является достижением 80-х гг. по сравнению с двумя предшествовавшими десятилетиями. А ностальгия (как эмигрантская, так и наша) по тому «взрыву в закупоренной бутылке», который произошел в 60-е гг., бесперспективна и нереалистична. Если в 60-е гг. что-то п р о и с х о д и л о, то сейчас все может быть только с д е л а н о и сделано нашими руками. Поезд без тепловоза с места не стронется. А прицепить его, заправить горючим и привести в движение – это наше «общее дело», дело интеллигенции, если мы не хотим сохранить на себе позорное тавро «образованщины». Эта ситуация дает совершенно новый стимул для консолидации (не спрессованности), для свободного объединения, ориентированного на решение совместных проблем, главной из которых я считаю восстановление разорванного в свое время Россией завета с Богом. Этот процесс «разрыва – восстановления» я хотел бы обозначить в контексте нашего диалога еще одной эмблемой – «потопа» – и собственной интерпретацией эмблемы «радуги». По окончании всемирного потопа, обращаясь к Нюю, «сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда; я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением завета между Мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке... И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле» (Быт. 9, 12 - 14, 16).